

# Тайжане и чудики

**В октябре в краевой библиотеке имени В.Я. Шишкова прошли VI публичные Шишковские чтения. Первое сравнительное чтение рассказов В.Я. Шишкова и В.М. Шукшина, которое дает в своем докладе профессор Светлана Козлова, открывает множество параллелей в прозе писателей.**



**Светлана Михайловна Козлова, доктор филологических наук, профессор АлтГУ.**

Фото Олега Ковалева.

текст  
СВЕТЛАНА  
КОЗЛОВА

СЛОВО

Проблема литературных связей творчества Василия Шукшина с прозой Вячеслава Шишкова имеет основание в топографическом аспекте (жизнь писателей в Сибири, главная в их творчестве сибирская тема). Правда, в решении этой проблемы могли бы иметь существенное значение фактические или документальные свидетельства интереса Шукшина к творчеству писателя, посвятившего такие значительные произведения, как «Ватага», «По Чуйскому тракту», «Чуйские были», «Алые сугробы», не просто Сибири, но воспетому Шукшиным Алтайскому краю. Кстати, в шишковской «Ватаге», с которой целыми страницами перекликаются шукшинские «Любавины», упоминаются Сростки: один из «ватажников» Зыкова — Курица — «родом из Сросток».

Но и без таких свидетельств первое сравнительное чтение открывает множество прямых и менее очевидных параллелей в прозе писателей, описание которых само по себе могло бы составить предмет большого исследования.

Концептуальная база «сибирской прозы» В.Я. Шишкова формировалась под сильным влиянием старших сибирских писателей — областников-«сепаратистов» Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, С.С. Шашкова, Н.И. Наумова — усматри-

вавших в жителях Сибири особую «сибирскую» нацию и прямо ставивших вопрос: сибиряк — тот же ли русский?

Литературные типы в прозе Шишкова и Шукшина показывают, что разделяющее писателей время советской интернационализации народов России не сняло этого вопроса. Шукшин вслед за Шишковым настойчиво отмечает особую породу русских людей, которая составила так называемый тип «сибиряка»: «обаятельный парень, сероглазый, чуть скуластый, с льянным чубариком-чубчиком. Хотя невысок ростом, но какой-то очень надежный, крепкий сибирячок, каних запомнила Москва 1941 года, когда такие вот, ясноглазые, в белых полушубках день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой город». Корни шишковских и шукшинских сибиряков — исконно русские, их родословные начинаются в землях центральной Европейской России, но это и такие русские, которые способны вырвать с кровью вековые корни, пуститься в неведомые края.

Герой рассказа Шишкова «Таежный волк» Бакланов ушел в Сибирь в самую зрелую, сознательную и семейную пору своей жизни: беглым монахом жил на Кавказе, «с горцами в дружбу вошел, охотой промышлял с ними. На 26-м году женился, а как стукнуло 26, сказал жене: «Пойдем в Сибирь-землю... И перебрались мы сюда к великой Енисей-реке. Вот и все жите мое». «А как, значит, повез нас отец сюда, — вторит шукшинский герой рассказа «Демагоги», — ...шибко уж неохота было из дому уезжать. Там у нас тоже речка была, она мне потом все снилась... Ока... А потом — ничего. Привык. Тут, конечно, лучше. Тут же земля-то какая! Не сравнить с той. Тут земля жирная». Или рассказ другого героя Шукшина из романа «Я пришел дать вам волю» о деревне на реке Шукша, которая «вся в Сибирь ушла».

В то же время искательство, мечтательность, уединенность, потерянности в бесконечных сибирских просторах роднят «тайжан» Шишкова и «чудиков» Шукшина с бродягами, странниками, поэтами. «Как всякий зверолов, как всякий бродяга или странник, Бакланов — поэт в душе», так же как «бесконвойные» герои Шукшина Алеша, Митьян Ермаков, Мона Квасов и другие — в душе мечтатели, поэты, философы.

Рассказ Вячеслава Шишкова «Ванька Хлюст», уже тип названия которого предопределяет будущую манеру шукшинской номинации. (сравните: «Гринька Малюгин», «Вань-

**Иллюстрация Бориса Диодорова  
к рассказу В.Я. Шишкова «Ванька Хлюст».**

Из книги: В.Я. Шишков. Рассказы.  
Москва, «Советская Россия», 1982.

на Тепляшин», «Митька Ермаков», «Степкина любовь» и др.), представляется квинтэссенцией образов, мотивов, ситуаций целого веера шукшинских рассказов, так или иначе раскрывающих суть характера «сибиряка».

Шишковская персонажная пара «дед — внук» (дед веселый, внук любознательный, ночью у реки, у костра ведут разговор о всякой всячине, постепенно выводя его на тему Сибири и вообще — тему жизни и смерти) заставляет вспомнить уже упоминавшийся рассказ Шукшина «Демагоги». Другую пару шишковскому деду составляет главный герой рассказа — Ванька Хлюст. Их диалог перекликается со спором шукшинского старика и парня Ивана в рассказе «В профиль и анфас», спором о смысле жизни: в том ли этот смысл, чтобы только «работать да детей рожать», поднятый Шукшиным и в рассказе «Дядя Ермолай». Причем нравственно-философские сентенции шукшинских героев звучат почти реминисценциями рассказа Шишкова. У Шишкова:

«Землю зря топтать ежели, в том моего согласия нету! Понял?.. — У Ваньки корявое лицо укоризной покрылось: Брюхо тут ни при чем, ежели душа просится на волю».

И у Шукшина:

«А я не знаю, для чего я работаю. Ты понял?.. Вроде нанялся, работаю. Но спроси: «Для чего?» — не знаю. Неужели только нажраться? Ну, нажрался... А дальше что? — Иван серьезно спрашивал, ждал, что старик скажет. — Что дальше-то? Душа все одно вялая какая-то...»

Маята души шишковского Ваньки прямо ведет к другому рассказу Шукшина — «Верую!», герои которого «отказываются понимать свое пребывание здесь, на земле», если им не дано познать смысл этого «пребывания». Максим Яриков, как и Ванька Хлюст, открывают в себе реальность «души», потому что она «болит», «пищит» под тяжестью навалившихся вопросов и сомнений.

Шишков: «Душа? — вскрикнул Ванька, — вот то-то и дело, что душа... Дык чижалехонько ведь... Сам не рад поди... Душа во мне запищала... Сумленье к самому сердцу подкатилось... Гложет... дыхнуть не дает. Хошь стой, хошь падай... Прямо край! Бог-то где же?.. Скажи мне, по чистой совести, скажи мне, дед, веришь ты в бога?.. Если веришь, стало быть, бог есть, по-твоему?»

Шукшин: «Но у человека есть также — душа! Вот она



здесь, — болит — Максим показывал на грудь. — Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую — болит... Я пришел узнать: у верующих душа болит или нет?.. Значит, если я тебя правильно понял, бога нет?..» («Верую!»)

Вопрос о Боге у Шишкова и у Шукшина, по сути, разрешается вопреки церковно-христианским догматам, обнаруживая воспринятую и тем и другим писателем сибирский, внецерковный взгляд на эту проблему.

«Алтайцы — богу не молятся, у них двory снотом ломятся. А наш русак, хоша просит вышнего, кола нет лишнего: кругом бегом... Это у нас в тайге така присказка. А я тебе, сударик, вот что скажу: бога я завсегда в сердце имею. И тебе советую. Понял?.. Вот что, мила-а-й...» («Ванька Хлюст»).

«Теперь я скажу, что бог есть. Имя ему — Жизнь. В этого бога я верую. Это — суровый, могучий Бог... Верь в Жизнь». («Верую!»).

И попы у Шишкова и Шукшина исповедуют более мирскую, нежели клерикальную жизненную позицию. «Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо», — провозглашает «интересный» поп в рассказе «Верую!».

следуя шишковскому попу, который и водку пьет, и бабу в кошевке в буранную ночь на тройке катает, и тех, «кто слаб в коленках», не уважает.

Душевное беспокойство героя рассказа Шишкова «Ванька Хлюст» выливается, кроме того, в странное стремление принять страдание за некие неведомые грехи.

«Да какой у тебя грех-то? Какие у нас с тобой могут быть грехи? Ну-ка...», — урезонивает Ваньку дед. — «У меня, дед, грехов сорок мешков».

В рассказе Шукшина «Верую!» Максим Яриков тоже «пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям и себе потом становилось нехорошо». Этот мотив покаяния в несовершенных грехах заставляет вспомнить еще рассказ Шукшина «Миль пардон, мадам!». Хорошо узнаваема в нем сцена шишковского рассказа в пейзаже: ночь, река, тайга, потухающий костер — и особенно в психологической разработке характера героя.

«Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывает на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну... — Я стрелил... — Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. ... И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит: — Я промахнулся!». («Миль пардон, мадам!»)

Сравните у Шишкова:

«...Плечи вдруг ходуном заходили, затряслась голова... (Ванька) начинает уже не сдерживаясь, выть чужим голосом, сплевывая сердито и ляская по-волчьи зубами. И во тьме чуть слышно: Покаяться я тебе должен, как перед богом... видно, капут пришел мне, не совладать... Попа-то, помнишь?.. Ведь я спалил... И Дуношку-то... Дуношку-то ведь... я... порешил... Ву-у-у! Ухууху... Прости-и, Христом прошу...»

Дед кряхтит, ворочается с боку на бок: «Ты не убивец, Ванька... И пошто ты, например, таку неправду на себя при-мал?» — Ванька Хлюст точно тьму рубит: «Душа требует».

Эта странная, почти абсурдная потребность души героев двух разных писателей понятна и логична в пространстве ссыльно-каторжной Сибири, где и невинный чувствует себя причастным к всеобщей и неизбывной русской вине. На сибирское происхождение виноватости безвинных недвусмысленно указывает герой Шукшина Максим Яриков, который просит «вести его под конвоем в Магадан». Причем он хотел идти туда непременно босиком, чтобы принять на себя, по-видимому, всю меру страданий безвинных жертв и царской, и советской власти.

В то же время странные фантазии «тайжан» Шишкова, как и «чудинов» Шукшина, являются выражением свободы воли, свободы выбора пути, обыкновенного и альтернативного, ценою ли подвига или преступления разрешающего проблему соизмеримости могучих необъятных сил сибирской природы и малости человеческого существования, ограниченного заботой о хлебе насущном. Такое мироощущение, обусловленное безмерными ничейными пространствами Сибири, в которых сибиряк, в отличие от русского европейца, может почувствовать себя и устроиться самовластным хозяином, — общее место в характерологии героев и Шишкова, и Шукшина.

У Шишкова в рассказе «Таежный волк»:

«Я над всем этим краем властитель. Не в похвальбу, а так оно и есть. ...Да пусть скажут мне короли земные, вельможные правители: «Бакланов, владей всем нашим богатством, дворцами, городами, пей, гуляй, писаных красавиц хоровадь, спускайся с гор, иди к нам, властвуй!» —

Нет, — скажу я, — нет... околдовала меня мать-природа, угрела, осветила солнцем, обвеяла белыми туманами: здесь родилась новая моя душа, некуда отсель идти и не-зачем... Просторы вы мои, просторы...»

У Шукшина:

«Моя мысленно вообразил вдруг огромнейший простор своей родины, России, — как бесконечную равнину, и увидел себя на той равнине — идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг...» («Упорный»).

«Покой и воля» как тайный закон нетронутой природы определили последний исход судьбы героя «с загогулинкой» в рассказе Шишкова «Ванька Хлюст». Родился он «приблудышем», а был красивый, кудрявый, баянист, песенник: «Рос я не как все другие прочие, законные которые, а так... Ну и озорным же я парнишкой был, надо правду сказать... Первоюшим пакостником меня считали, по всей округе наслыхах был... И никакой во мне жалости не было к человеку».

Шишковский «приблудыш», красавец-«пакостник», потерявший границу между добром и злом, в самую отчаянную свою минуту распаивается большой душой навстречу естеству и красоте природы, находит в ней согласие с миром и самим собой: «Пошел я прямо в тайгу. Пришел, пал на колени, реву... Гляжу: бурундучишка стоит у кедра на задних лапках, смотрит на меня глазенками, а сам насвистывает... Э-эх! И вдруг не стало во мне, дедушка, ни печали, ничего земного прочего». Но этот обретенный Ванькой покой души означает для него примирение не только с жизнью, но и со смертью. Ванька Хлюст неоднократно пытается покончить с собой и в конце концов осуществляет свое намерение, осознав вполне всю ничтожность собственного существования.

Тот же исход дает Шукшин своему Спирьке Рас-торгуеву в рассказе «Сураз» — красивому, «как Байрон», «приблудышу»-пакостнику, которому «собственная жизнь вдруг опостылела, показалась чудовищно лишеной смысла». Как и Ванька Хлюст, в своем отчаяньи Спирька «свернул с дороги в лес, въехал на полянку, заглушил мотор, вылез, огляделся и сел на пенек. «Вот где стреляться-то, — вдруг подумал он спокойно». Как и Ванька Хлюст, Спирька уже пытался застрелиться на кладбище.

Но для Шукшина, как и для Шишкова, было важно привести «заблудившуюся» душу человека с его «загогулиной» — ложным и мстительным сознанием своей социальной «незаконности» — к простой и высшей истине естественного равенства и единства всех и вся в сотворенном Богом прекрасном мире: «Красиво было, правда. Только Спирька специально не разглядывал эту красоту, а как-то сразу всю понял ее. И сидел. Склонился, сорвал травинку, закурил ее в зубах и стал слушать птиц. Маленькие хозяева лесные посвистывали (сравните у Шишкова: бурундучок посвистывает), попискивали, чирикали где-то в кустах».

Герои Шишкова и Шукшина как будто не прерывают насильно свою жизнь, а обретают вечный покой, соединяясь со стихией природы. Ванька Хлюст как бы исчезает, растворяется в таежной ночи. Мертвый Спирька «лежал уткнувшись лицом в землю, вцепившись руками в траву. Ружье лежало рядом. Никак не могли понять, как же он стрелял? Попал в сердце, а лежал лицом вниз», — словно не сам убил себя, а земля приняла его.

Таким образом, даже те немногие и только намеченные связи прозы Шукшина с творчеством Шишкова позволяют говорить о глубокой преемственности современного писателя в разработке проблемы русского человека в Сибири.